

Рп 34706

Зорис Касиерова



**Коллекция
прижизненных изданий**

БОРИС ПАСТЕРНАК

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ И ПОЭМЫ

ОГНЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1945

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

I

* * *

Февраль. Достать чернил и плакаты!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною чёрною горит.

Достать пролётку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колёс
Перенестись туда, где ливень
Ещё шумней чернил и слёз.

Где, как обугленные груши,
На ветках тысячи грачей,
Неистовствуя, как кликуши,
Галдят торговки горячей.

Кругом проталины чернеют,
И город карканьем изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1913

ЛЕДОХОД

Ещё о всходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
Рыбачий стан под старым Спасом
И крест и кузова расшив,
И вечер вырвешь только с мясом.

Капель до половины дня,
Потом, морозом землю скомкав,
Гремит пловучих льдин резня
И поножовщина обломков.

И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовой,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережёвы.

1915

С Ч А С Т Ь Е

Исчерпан весь ливень вечерний
Садами. И вывод — таков:
Нас счастье тому же подвергнет
Терзанию, как сонм облаков.

Наверное, бурное счастье
С лица и на вид таково,
Как улиц, по смутьи ненастья,
Столиственное торжество.

Там мир заключён. И как Каин,
Там заштемплёван теплом
Окраин, забыт и охаян,
И высмеян листьями гром.

И высью. И капель икотой.
И — внятной тем более, что
И рощам нет счёта: решёта
В сплошное слились решето.

На плоской листве. Океане
Расплавленных почек. На дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.

Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клест
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость — россыпью звёзд.

1915

ЛАНДЫШИ

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в рёбрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойдённой новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот тыходишь в березняк.
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупреждён.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождём
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора — от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки.
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.

СИРЕНЬ

Положим, — гудение улья,
И сад утопает в стряпне,
И спинки соломенных стульев,
И чёрные зёрна слепней.

И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела:
Далёкая молодость в сотах —
Седая сирень расцвела!

И входит старуха с клюкою,
И гром отмыкает кусты,
И ливень въезжает в покои
Отстроившейся красоты.

И чуть наполняет повозка
Раскатистым воздухом свод, —
Лиловое зданье из воска,
До облака вставши, плывёт.

И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путём отстояться и стечь.

1927

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Всё стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попорванным парком из ливня — под град,
Потом от сараев — к террасе бревенчатой.

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стёкол балконных, как с бёдер и спин
Озябших купальщиц, — ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.

Вот луч, покатайся с паутины, залёг
В крапиве, но, кажется, это не надолго,
И миг недалёк, как его уголёк
В кустах разожжётся и выдует радугу.

1915

В ЛЕСУ

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.

Есть сон такой, — не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палит ресницы
Два чёрных солнца, бьющих из-под век.

Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жару.

Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.

Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоём, казалось, только спят.

1917

П Е Т У Х И

Всю ночь вода трудилась без отдышки.
Дождь до утра льняное масло жѣг.
И валит пар из-под лиловой крышки,
Земля дымится, словно щей горшок.

Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит,
Кто мой испуг изобразит росе
В тот час, как загорланит первый кочет,
За ним другой, ещё за этим все?

Перебирая годы поименно,
Поочерѣдно окликаая тьму,
Они пророчить станут перемену
Дождю, земле, любви — всему, всему.

1923

* * *

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьём на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лёд.
Утром спугни с мочежины озёрной.
Целься, всё кончено! Бей меня влёт.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

1923

II

С О Н

Мне снилась осень в полусвете стёкол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло и старилось, и глохло,
И, паволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стёкла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лёд, трещал и таял кресел шёлк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, тёмн
Рассвет, и ветер, удаляясь, нёс,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Грядущим по небу берёз.

1913

ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук.
Испытанный друг и указчик.
Начать — не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость.
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В манёврах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глохнет свисток повторённый,
А издали вторит другой,
И поезд метёт по перрону
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер,
О, быть бы и мне в их числе!

1913

З Н М А

Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет, — к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кугерьмы.

«Значит — в «море волнуется»? В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черёд, не готовясь?
Значит — в жизнь? Значит — в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит — вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?

Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыхает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются — и в плач.
Чёрным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

1913

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Не поправить дня усильями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и чёрным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом, и я в нём гувернёром.
Я один, я спать усладил ученика.

Никого не ждут. Но — наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навёл на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью её, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмёрзшие бутылки голых чёрных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

1913

М Е Т Е Л Ь

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожен
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник — осиновый лист, он безгубый,
Без жизни, о вьюга, бледней полотна!

Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчком с мостовой...
— Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, её вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то, я сбился с дороги,
— Не тот это город, и полночь не та,

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
 Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
 Заваливай окна и рамы заклеивай,
 Там детство рождественской елью топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор.
 Они поклялись извести человечество.
 На сборное место, город! За город!
 И вьюга дымится, как факел над нечистью.

Пушинки непрошено велятся на руки.
 Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
 Снежинки снуют, как ручные фонарики.
 Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
 Пурги: — Колиньи, мы узнали твой адрес!
 Секиры и крики: — Вы узнаны, узники
 Уюта! — и по двери мелом — крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
 Подонки творенья, метели — споллагоря.
 Под праздник отправятся к праотцам правнука.
 Ночь Варфоломеева. За город, за город!

ВЕНЕЦИЯ

Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.

Всё было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Ещё тревожил небосклон.

Он вис трезубцем скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорблённой,
Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и чёрной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косою ухмылкой
Оглядывался, как беглец.

Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.

1914

ПЕТЕРБУРГ

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжён без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щёки,
Когда на Петровы глаза наворачнулись,
Слезя их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда им
Забвеньё владело; когда он знакомил
С империей царство, край — с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, —
Мне здесь сновиденье явилось, и счёты
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Был тучами царь, как делами завален.
В ненастья натянутый парус,
Как в кальку, щетиною ста готовален
Врезался царская ярость.

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пицалей.

И знали: не будет приёма. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,

Пока у него на чертёжный подрамок
Надеты таёжные топи.

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буюм, залитым
Мутью, мешаает с толчёным графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день расгерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дёгтем и доками пахнет ненастье
И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по чёрным следам колеса.

Облачно. Щёлкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

СТИХИ О ПУШКИНЕ

Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижимых и немых,
С челом сияющим от царственных венчаний.

Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь.

Ап. Григорьев

1

Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа.
Скала и — Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы втупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.

В осатаненный льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул, и полыханье
Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос.
Светло, как днём. Их освещает пена.
От этой точки глаз нельзя отвлечь.
Прибой на сфинкса не жалеет свеч
И заменяет свежими мгновенно.
Скала и шторм. Скала, и плащ, и шляпа.
На сфинксовых губах — солёный вкус
Туманностей. Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз.

Он чешуи не знает на сиренах.
И может ли поверить в рыбий хвост

Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся, как об лёд, отблеск звёзд?
Скала и шторм и — скрытый ото всех
Нескромных — самый странный, самый тихий.
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех...

1918

2

Мчались звёзды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слёзы высыхали.
Были тёмны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Плыли свечи. И, казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.

Море тронул ветерок с Марокко.
Шёл самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

3

Цыганских красок достигал,
Болея цынгой и тайн не делал
Из чёрных дырок тростника
В краю воров и виноделов.

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград,
Клевали кисти воробьи,
Кивали безрукавки чучел,
Но шорох гроздий перебив,
Какой-то рокот мёр и мучил.

Там мрело море. Берега
Гремели, осыпался гравий.
Тошнило гребни изрыгать,
Барашки грязные играли.

И шквал за Шабо бушевал
И выворачивал причалы.
В рассоле крепла бечева,
И шторма тошнота крепчала.

Раскатывался балкой гул,
Как баней шваркнутая шайка,
Как будто говорил Кагул
В ночах с Очаковскою чайкой.

4

В степи околевал закат,
И вслушивался в звон уздечек,
В акцент звонков и языка
Мечтательный, как ночь, кузнечик.

И степь порою спрохвала
Волок, как цепь, как что-то третье,
Как выпавшие удила,
Стреноженный и сонный ветер.

Истлела тряпок пестрота,
И, захладев, как медь безмена,
Завёл глаза, чтоб стрекотать,
И засинел, уже безмерный,
Уже, как песнь, безбрежный юг,
Чтоб перед этой песнью дух
Нивесть каких ночей, нивесть
Каких стоянок перевесть.

Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.

УРАЛ В ПЕРВЫЕ

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан — заводам и горам —
Лесным печником, злозязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

1915

И М П Р О В И З А Ц И Я

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клёкот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь тёрлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны. — И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые чёрные крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дёгтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлись птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.

1915

МЕЛЬНИЦЫ

Стучат колёса на селе.
Струятся и хрустят колосья.
Далеко, на другой земле
Рыдает пёс, обезголосев.

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
И брешет пёс, и бьёт в луну
Цепной, кудлатой колотушкой.

Мигают вишни, спят волы,
Внизу спросонок пруд маячит,
И кукурузные стволы
За пазухой початки прячут.

А над кишеньем всех естеств,
Согбённых бременем налива,
Костлявой мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.

Плакучий Харьковский уезд,
Русалочки начёсы лени,
И вётел, и плетней, и звезд,
Как сизых свечек шевеленье.

Как губы, — шепчут; как руки, — вяжут;
Как вздох, — невнятные, как кисти, — дряхлы,
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?

И кто отважится, и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,

Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?

Им ветер был роздан, как звёздам — свет:
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только, как судна, земле вопреки,
Воздушною ссудой живут ветряки.

Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях степей паруса.
И сохнут на срубах, висят на горбах,
Рубахи из луба, порты-короба.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки,
И ночь подплывает во всём голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,
Баллоном раздув полотно панталон,
Вбегаёт и видит, как тополь, зажмурясь,
Нашествием снега слепит небосклон, —

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова,
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни умолот.
Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охажками падают в их постова.

Завидевши их, паровозы тотчас же
Врезаются в кашу, стремясь к ветрякам,
И хлопают паром по тьме клокочущей
И мечут из топок во мрак потроха.

А рядом, весь в пеклеванных выкликах,
Захлёбываясь кулешом подков,
Подводит шлях, в пыли по щиколку,
Под них свой сусличний подкоп.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые обвалы пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.

И они перемалывают царства проглоченные,
И, вращая белками, пылят облака,
И, быть может, нигде не найдётся вотчины,
Чтобы бездонным мозгам их была велика.

Но они и не жалуются на каторгу.
Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

НА ПАРОХОДЕ

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был, как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя-кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлёбываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой

Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был, как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компани
И городские фонари.

МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложение, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль её слёз! Я святого блаженней!

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтён
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своём подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, грёб
По липам. И всё это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирождённый, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребьячья зазноба. За ним,
К несчастью, придётся присматривать в оба».

«Шагни, и ещё раз», — твердил мне инстинкт,
И вёл меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег», —
Твердил он, и новое солнце с зенита

Смотрело, как сызнава учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел.
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребёнок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал на-зубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лёд этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты..
О чём ты? Опомнись! Пропало. Отвергнуто.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
Коггистые крыши. Деревья. Надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё — живо. И всё это тоже — подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.
Вокзальная сутолока не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнёт по томам,
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

1915

БОЛЕЗНЬ

От тела отдельную жизнь, и длинней
Ведёт, как к груди непричастный пингвин,
Бескрылая кофта больного — фланель:
То каплю тепла ей, то лампу придвинь.

Ей помнятся лыжи. От дуг и от тел,
Терявшихся в мраке, от сбруи, от бар
Валило! Казалось — сочельник потел!
Скрипели, дышали езда и ходьба.

Усадьба и ужас, пустой в остальном:
Шкафы с хрусталём и ковры, и лари.
Забор привлекало, что дом воспалён.
Снаружи казалось, у люстр плеврит.

Снедаемый небом, с зимою в очах,
Распухший кустарник был бел, как испуг.
Из кухни, за сани, пылавший очаг
Клал на снег огромные руки стряпух.

ВОСПОМИНАНИЕ

Мне в сумерки ты всё — пансионеркою,
Всё — школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося,
И вот — айда! Аукаемся, кличем.

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она — твой шаг, твой брак, твоё замужество,
И тяжелей дознаний трибунала.

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стайей горлинок
Летели хлопья грудью против гула.
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
С лотков на снег, их до панелей гнуло!

Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового
Пожаром выюги озарясь, хлестала!

Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, звонких, — помнишь, помнишь давешних
Колоколов предпраздничных гуденье?

Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.

Мне в сумерки ты будто всё с экзамена,
Всё — с выпуска. Чижи, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсюль и пузырьков лечебных!

ГОРОД

Уже за́ версту,
В капиллярах ненастья и вереска,
Густ и солон тобою туман.
Ты горишь, как лиман,
Обжигая пространства, как пересыпь,
Огневой солончак
Растекающихся по стеклу
Фонарей, — каланча,
Пронизавшая заревом мглу!

Навстречу курьерскому, от города, как от моря,
По воздуху мчатся огромные рощи.
Это галки, кресты и сады, и подворья
В перелётном клину пустырей
Всё скорей и скорей вдоль вагонных дверей,
И — за поезд
Во весь карьер.

Это вещице ветки,
Божась чердаками,
Вылетают на тучу.
Это чёрной божбою
Бьётся пригород Тьмутараканью в падучей.
Это Люберцы или Любань. Это гам
Шпор и блюдец, и тамбурных дворец и рам
О чугунный перрон. Это сонный разброд
Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт.
Это смена бригад по утрам. Это спор
Забывтья с голосами колёс и рессор.
Это грохот утрат о возврат. Это звон
Перецепок у цели о весь перегон.

Ветер треплет ненастья наряд и вуаль.
Даль скользит со словами: навряд и едва ль —
От расспросов кустов, полустанков и птах,
И лопат, и крестьянок в лаптях на путях.
Воедино собираются дни сентября.
В эти дни они в сборе. Печальный обряд.
Обирают убранство. Дарят, обрыдав.
Это всех, обречённых земле, доброта.

Это горсть повестей, скопидомкой-судьбой
Занесённая в поздний прибой и отбой
Подмосковных платформ. Это доски мостков
Под кленовым листом. Это шёлковый скоп
Шелестящих красот и крылатых семян
Для засева прудов. Всюду рябь и туман.
Всюду скарб на возах. Всюду дождь. Всюду скорбь.
Это — наш городской гороскоп.

Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой оглушённую свист замутив
Скользит, задевая парами за ивы,
Захлёбывающийся локомотив.

Считайте места. Пора. Пора.
Окрестности взяты на буфера.
Окно в слезах. Огни. Глаза.
Народу! Народу! Сопят тормоза.

Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимой где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышит гром и лето.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то, где-то, раздувая ноздри,
Скачут случай, тайна и беда,
За собой погоню заподозрив.

Где-то ночь, весь ливень расстроив,
На двоих насккивает в чайной.
Где же третья? А из них троих
Больше всех она гналась за тайной.

Громом дрожек, с аркады вокзала,
На краю заповедных роц,
Ты развёрнут, роман небывалый,
Сочинённый осенью, в дождь.

Фонарями, — и сказ свой ширишь
О страдалице бельэтажей,
О любви и о жертве, сиречь,
О рассроченном платеже.

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла.

СЕСТРА МОЯ—ЖИЗНЬ

Где-то ночь, весь ливень расстроив,
На двоих наскочивает в чайной.
Где же третья? А из них троих
Больше всех она гналась за тайной.

Громом дрожек, с аркады вокзала,
На краю заповедных рощ,
Ты развёрнут, роман небывалый,
Сочинённый осенью, в дождь.

Фонарями, — и сказ свой ширишь
О страданице бельэтажей,
О любви и о жертве, сиречь,
О рассроченном платеже.

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла.

СЕСТРА МОЯ—ЖИЗНЬ

ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА

В занавесках кружевных
Вороньё.
Ужас стужи уж и в них
Заронён.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.

Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.

Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.

Снег валится, и с колен —
В магазин

С восклицаньем: «Сколько лет,
Сколько зим!»

Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!

Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков.
Выводил.

1917

ПАМЯТИ ДЕМОНА

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

Не рыдал, не сплетал
Оголённых, исхлёстанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,
Под решёткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось
В волосах и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, лавиной вернуся.

1917

ПРО ЭТИ СТИХИ

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолок
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме.
К карнизам прынет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.

Буран не месяц будет мечь.
Концы, начала заметёт.
Внезапно вспомню: солнце есть.
Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет рождество,
И разгулявшийся денёк
Прояснит много из того,
Что мне и милой невдомёк.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку кликну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе? —

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.

1917

С В Е Т А Е Т

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плёс,
Обрызганный, закапанный
Миллионом синих слёз.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платю пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времён,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

1917

ЗВЁЗДЫ ЛЕТОМ

Рассказали страшное.
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,
Двигутся, как в театре.

Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал,
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Всё, что им нашаркали,
Всё, что наиграли.

1917

НАША ГРОЗА

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.

Звон вёдер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьётся сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.

В эмали — луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, — соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.

У кадок пьют ещё грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.

К малине липнут комары.
Однакож, хобот малярный,
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовой?!

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь как мокрая листва?!

О, верь игре моей и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!

Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.

Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и в озареньи
Святого лета твоего
Раздую я в пожар его!

Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег,
Он таег на моих во сне.

Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графлёную осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.

Они с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

1917

В О Р О Б І Ё В Ы Г О Р Ы

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьёт ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рёв гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечём.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

Просевая полдень, Тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушён поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

1917

РАЗМОЛВКА

По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?

С этой дачею дощатой
Может и не то стрястися.
Счастье, счастьем нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?

Может молния ударить, —
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьёт дробинкой.

Всё ещё нам лес — передней.
Лунный жар за елью — печью,
Всё, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.

И когда к колодцу рвётся
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе ещё угодно?

Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон, зарёю серо-синей,
Встал он сонный, встал намокший.

Он глядит в окно, как в дужку,
Старый, страшный состраданьем.

От него мокра подушка,
Он зарыл в неё рыданья.

Как утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,
Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишишь?

Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он — в слезах, а ты — прекрасна,
Вся, как день, как нетерпенье!

Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в сёлах
Гаснут, — солнца, в пыль и в ливень?

ДУШНАЯ НОЧЬ

Накрапывало, — но не гнулись
И травы в грозовом мешке,
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленьи,
И в лихорадке бредил бог.

В осиротелой и бессонной,
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шёл спор. Я замер. Про меня!

Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Ещё я с улицы за речью
Кустов и ставней — не замечен;

Заметят -- некуда назад:
Навек, навек заговорят.

1917

ЕЩЁ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ

Всё утро голубь ворковал
У вас в окне.
На жолобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось, — перестанут
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лёд,
На подзеркальник льёт.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошённой тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.
Я их просил —
Не мучьте!

Не спится.
Но — моросило, и, топчась,
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

1917

* * *

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Ещё мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты,
До жомрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме — кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шопот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою — твой,
Он улетучивался с губ
Воздушной капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трёх сторон
Внезапно озарённый мыс.

1917

КАКУНИХ

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подыметса, шелохнется ли сом, —
Оглушены. Не слышат. Далеки.

Очам в снопах, как кровлям, тяжело
Как угли блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесёт,
То, княженикой с топи угощён,
Ползёт и губы лачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.

У окуня ли ёкнул плавники, —
Бездонный день — огромен и пунцов.
Поднос Шелони — чёрен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки...

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.

1917

Л Е Т О

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

Бывало, нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звёздам и деревьям власть
Над кухнею и садом.

Не тени, — балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла.
Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,
С другими — вы, не так ли?
Дни висли, в кислце блестя,
И винной пробкой пахли.

* * *

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру;
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызгнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых,
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружён в отделку

Кленового листа
И с дней экклезиаста
Не покидал поста
За тёской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?

Чтоб мелкий лист раки
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.

1917

* * *

Здесь прошёлся загадки таинственный ноготь.
— Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом раздражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звёзды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

I

* * *

Любить иных тяжёлый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильна.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Всё это — не большая хитрость.

1931

* * *

Всё снег да снег, — терпи и точка.
Скорей уж, право б, дождь прошёл
И горькой тополевой почкой
Подруги сдобрил скромный стол.

Зубровкой сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы — грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил.

Тупицу б двинул по затылку, —
Мы в ту пору б оглохли, но
Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно.

И гам ворвался б: «Ливень заслан
К чертям, куда Макар телят
Не ганивал...» И солнце маслом
Асфальта б залило салат.

А вскачь за тряскою четвёркой
За безрессоркою Ильи, —
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

1931

* * *

Мертвецкая мгла,
И с тумбами вровень
В канавах — тела
Утопленниц-крюгель.

Оконницы служб
И охра покоев
В покойницкой луж,
И лужи — рекою.

И в них извозцы,
И дрожек разводы,
И взят под уздцы
Битюг небосвода.

И капли в кустах,
И улица в тучах,
И щебеты птах,
И почки на сучьях.

И все они, все
Выходят со мною
Пустынным шоссе
На поле Ямское,

Где спят фонари
И даль, как чужая:
Её снегири
Зарёй оглушают.

Опять на гроши
Грунтами несмело
Творится в тиши
Великое дело.

1931

* * *

Платки, подборы, жгучий взгляд
Подснежников — не оторваться.
И грязи рыжий шоколад
Не выравнен по ватерпасу.

Но слякоть месит из лучей
Весну и сонный стук каменьев,
И птичьи крики мнёт ручей,
Как лепят пальцами пельмени.

Платки, оборки — благодать!
Проталин чёрная лакрица...
Сторицей дай тебе воздать
И, как реке, вздохнуть и вскрыться.

Дай мне, превысив нивелир,
Благодарить тебя до сипу,
И сверху окуни свой мир,
Как в зеркало, в моё спасибо.

Толпу и тумбы опрокинь
И жолоба в слюне и пене,
И неба роговую синь,
И облаков пустые тени.

Слепого полдня желатин
И жёлтые очки промоин,
И тонкие слюдинки льдин,
И кочки с чёрной бахромою.

1931

* * *

Любимая, молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты — подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямой возник!
Но пусть и так, — не как бродяга
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь просёлков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнёмся и уйдём,
Тесней, чем сердце и предсердьё,
Зарифмовали нас вдвоём.

Чтоб мы согласия сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьём и тянем
И будем ртами трав тянуть.

1931

* * *

Красавица моя, вся статья,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвётся музыкою статья,
И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок,
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
Что тут с трудом выносятся,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою,
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
Вся статья твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь
И тянет петь, и — нравится.

1931

* * *

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проёме
Незадёрнутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег, и, кроме
Крыш и снега, — никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.

И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но неожиданно по портъере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдѣшь.

Ты появишься у двери
В чём-то белом, без причуд,
В чём-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

1931

* * *

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплёкой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далёко,
Так робок первый интерес!

Но старость — это Рим, который,
Взамен турусов и колёс,
Не читки требует с актёра,
А полной гибели всерьёз.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

1931

* * *

Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут.

Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрём.
Есть дом, где хлеб, как лебеда,
Есть дом, — так вот бегом туда.

Пусть вьюга с улиц улюлю, —
Вы — радугой по хрусталу,
Вы — сном, вы — вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.

О, ссадины вокруг женских шей
От вешавшихся фетишей:
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,
Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож,
И образ Синей Бороды
Сильнее, чем мои труды.

Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,

И привиденьем искажён
Природный жребий лучших жён.

О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

* * *

Упрёк не успел потускнеть,
С рассвета опять потрясенье:
Вослед за содеянным смерть
Той ночью вошла в твои сени.

Скончался большой музыкант,
Твой идол и родич, и этой
Утратой открылся закат
Уюта и авторитета.

Стояли, от слёз охмелев
И астр тяжеля переливы,
Белел алебастром рельеф
Одной головы горделивой.

Черты в две орлиных дуги
Несли на буксире квартиру,
Обрывки цветов, и шаги,
И приторный привкус эфира.

Твой обморок мира не внёс
В качанье венков в одноколке
И пар обмороженных слёз
Пронзил нашатырной иглой.

И марш похоронный роптал,
И снег у ворот был раскидан,
И консерваторский портал
Гражданскою плыл панихидой.

Меж пальм и московских светил,
К которым ковровой дорожкой
Я тихо тебя подводил,
Играла огромная брошка.

Орган отливал серебром,
Немой, как в руках ювелира,
А издали слышался гром,
Катившийся из-за полмира.

Покоилась люстр тишина,
И в зареве их бездыханном
Играл не орган, а стена,
Украшенная органом.

Ворочая балки, как слон,
И, освобождаясь от бревён,
Хорал выходил, как Самсон,
Из кладки, где был замурован.

Томившийся в ней поделом
И пущенный из заточенья,
Он песнею нёсся в пролом
О нашем с тобой обрученьи.



Как сборы на общий венок,
Плетни у заставы чернели.
Короткий морозный денёк
Вечерней звенел ригурнелью.

Магнето прошло темнотой.
Нас кто-то догнал на моторе.
Дорога со всей прямоюй
Направилась на крематорий.

Оттуда дул ветер, и снег,
Как на рубежах у Варшавы,
Садился на брови и мех
Снежинками смежной державы.

Озябнувшие москвичи
Шли полем, и вьюжная нежить

Уже выносила ключи
К затворам последних убежищ.

Но он был любим. Ничего
Не может пропасть. Ещё мене —
Семья и талант. От него
Остались броски сочинений.

Ты дома подымешь пюпитр,
И, только коснёшься до клавиш,
Попытка тебя ослепит,
И ты ей все крылья расправишь.

И будет январь и луна,
И окна с двойным позументом
Ветвей в серебре галуна,
И время пройдёт незаметно.

А то, удивившись на миг,
Слохватишься ты на концерте,
Насколько скромней нас самих
Вседневное наше бессмертье.

* * *

Весеннею порою льда
И слёз, весной бездонной,
Весной бездонною, когда
В Москве — конец сезона,
Вода доходит в холода
По пояс небосклону,
Отходят рано поезда,
Пруды — жёлто-лимонны,
И проводы, как провода,
Оттянуты в затоны.

Когда ручьи поют романс
О непролазной грязи,
И вечер явно не про нас
Таинственен и черномаз,
И неба безобразье —
Как речь сказителя из масс
И женщин до потопа,
Как обаянье без гримас
И отдых углекопа.

Когда какой-то брод в груди,
И лошадию на броде
В нас что-то плачет: пощади,
Как площади отродье.
Но столько в лужах позади
Затопленных мелодий,
Что вставил вал, и заводи
Машину половодья.

Какой в неё мне вставить вал?
Весна моя, не сетуй.
Печали час твоей совпал
С преображеньем света.
В краях заката стоял лёд,
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывёт
Усадьба без хозяев.

Прощальных слёз не осуша,
И плакав вечер целый,
Уходит с запада душа,
Ей нечего там делать.

Она уходит, как весной
Лимонной желтизною
Закатной заводи лесной
Пускаются в ночное.
Она уходит в перегной
Потопа, как при Ное,
И ей не боязно одной
Бездонною весной.

Пред нею край, где в поясной
Поклон не вгонят стона,
Из сердца девушки сеной
Не вырежут фестона.
Пред ней заря, пред ней и мной
Зарей жёлто-лимонной —
Простор, затопленный весной,
Весной, весной бездонной.

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Её путей, не боле,

И так как я лишь ей задег
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на-нет
В революционной воле.

II

БАЛЛАДА

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трёхъярусном полёте,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как листопад,
Гребут берёзы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревёт фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льёт дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льёт дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учёте.
Я на земле, где вы живёте,
И ваши тополя кипят.
Льёт дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льёт дождь. Я вижу сон: я взял
Обратно в ад, где все в комплоте
И женщин в детстве мучат тѣти,
А в браке дети теребят.
Льёт дождь. Мне снится: из ребят
Я взял в науку к исполину,
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светаёт. Мглистый банный чад.
Балкон плывёт, как на плашкоте.
Как на плотях, — кустов щепоти
И в каплях потный тѣс оград.
(Я видел вас пять раз под ряд).

Спи, будь. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.

Л Е Т О

Ирпень — это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, вёдра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпении
Смолы; о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.

Пронзительных иволог крик и явленье
Китайкой и углем желтило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.

Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье — сверчка.

В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек житрый манёвр
Сводил с полутьмою зажжённый репейник,
С землёю — саженные тени ирпенек
И с небом — пожар полосатых панёв.

Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.
Зарницы вздымали рога по-оленьи,
И с сена вставали и ели из рук
Подруг, по приходе домой, тем не мене
От жуликов дверь запиравших на крюк.

В конце, пред отъездом, ступая по жипе
Листвы, облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налёт недомолвок сорвал рукавом.

И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе,
На пире Платона во время чумы.

Откуда же эта печаль, Диотима?
Каким увереньем прервать забытьё?
По улицам сердца из тьмы нелюдистой!
Дверь настезь! За дружбу, спасенье моё!

И это ли происки Мери-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лёг
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

СМЕРТЬ ПОЭТА

Не верили, считали — бредни,
Но узнавали от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в строку
Остановившегося срока

Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепёка
Разгорячённо на грачих

Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.
Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.

Как, сплющив, выплеснул из стока б
Лещей и щуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку
Как вздох пластов нехолостых.

Ты спал, постлав постель на сплетне.
Спал и, оттрепетав, был тих, —
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щёку,
Спал — со всех ног, со всех лодыг

Врезаясь вновь и вновь снаскоку
В разряд преданий молодых.

Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих.

1930

* * *

Вечерело. Повсюду ретиво
Рос орешник. Мы вышли на скат.
Нам открылась картина на диво.
Отдышась, мы взглянули назад.

По краям пропастей куролеса,
Там, как прежде, при нас, напролом
Совершало подъём мелкоколесье,
Попирая гнилой бурелом.

Там, как прежде, в фарфоровых гнёздах
Колченого хромал телеграф,
И дышал, и карабкался воздух,
Грабов головы кверху задрал.

Под прорешливой сенью орехов
Там, как прежде, в петливой красе
По заре вечеревшей проехав,
Колесило и рдело шоссе.

Каждый спуск и подъём что-то чуял,
Каждый столб вспоминал про разбой,
И, всё тулово вытянув, буйвол
Голым дьяволом плыл под арбой.

А вдали, где, как змеи на яйцах,
Тучи в кольца свивались, — грозней,
Чем былые набеги ногойцев,
Стлались цепи китайских теней.

То был ряд усыпальниц, в завесе
Заметённых снегами пугей

За кулисы того поднебесья,
Где томился и мерк Прометей.

Как усопших представшие души,
Были все ледники налицо.
Солнце тут же японскою тушью
Переписывало мертвецов.

И тогда, вчетвером на отвесе,
Как один, заглянули мы вниз.
Мельтеша, точно чернь на эфесе,
В глубине шевелился Тифлис.

Он так полно осмеивал сферу
Глазомера и всё естество,
Что возник и остался химерой,
Точно град не от мира сего.

Точно там, откупаяся данью,
Длился век, когда жизнь замерла
И горячие серные бани
Из-за гор воевал Тамерлан.

Будто вечер, как встарь, его вывел
На равнину под персов обстрел,
Он малиною кровель червивел
И, как древнее войско, пестрел.

НА РАНИИХ ПОЕЗДАХ

I

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

У нас весною до зари
Костры на огороде, —
Языческие алтари
На пире плодородья.

Перегорает целина
И парит спозаранку,
И вся земля раскалена,
Как жаркая лежанка.

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжёт, как глину.

Я стану, где сильней припёк,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною глазурью.

А ночь войдёт в мой мезонин
И, высунувшись в сени,
Меня наполнит, как кувшин,
Водою и сиренью.

Она отмоеет верхний слой
С похолодевших стенок.
И даст какой-нибудь одной
Из здешних уроженок.

И распутившийся побег
Потянется к свободе,
Устраиваясь на ночлег
На крашеном комодке.

1941

СОСНЫ

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся и снова
Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болей, и эпидемий,
И смерти освобождены.

С намеренным однообразием,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья,
Под копошенье мураша
Сосновою снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов.

И столько широты во взоре,
И так покорно всё извне,

Что где-то за стволами море
Мерещится всё время мне.

Там волны выше этих веток
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И чёрной магией воды.

А волны всё шумней и выше,
И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Неразличимой вдалеке.

И Н Е Й

Глухая пора листопада.
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину заняньчив,
Пугает её перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнёшься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопухий
Шутом маскарадным одет.

Всё обледенело с размаху
В папаше до самых бровей
И крадущейся росомахой
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идёшь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решётчатый тес на дверях.

За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,

Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.

Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишие
О спящей царевне в гробу.

И белому мёртвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даёшь».

1941

ГОРОД

Зима на кухне, тень петьки,
Метели, вымерзшая клеть
Нам могут хуже горькой редьки
В конце концов осточертеть.

Из чаши к дому нет прохода,
Кругом сугробы, смерть и сон,
И кажется, не время года,
А гибель и конец времён.

Со скользких лестниц лёд не сколот,
Колодец кольцами светло.
Каким магнитом в этот холод
Нас тянет в город и тепло!

Меж тем как, не преувелича,
Зимой в деревне нет житья,
Исполнен город безразличья
К несовершенствам бытия.

Он создал тысячи диковин
И может не бояться стуж.
Он сам, как призраки, духовен
Всей тьмой перебивавших душ.

Во всяком случае поленьям
На станционном тупике
Он кажется таким виденьем
В ночном горящем далеке.

Я тоже чтил его подростком.
Его надменность льстила мне.

Он жизнь веков считал наброском,
Лежавшим до него вчерне.

Он звёзды переобезьянил
Вечерней выставкою благ
И даже место неба занял
В моих ребяческих мечтах.

1941

ВАЛЬС СО СЛЕЗОЙ

Как я люблю её в первые дни,
Только что из лесу или с метели!
Ветки неловкости не одолели,
Нитки ленивые, без суетни,
Медленно переливая на теле,
Виснут серебряною канителью.
Пень под глухой пеленой простыни.

Озолотите её, осчастливьте, —
И не смигнёт. Но стыдливая скромница
В фольге лиловой и синей финифти
Вам до скончания века запомнится.
Как я люблю её в первые дни,
Всю в паутине или в тени!

Только в примерке звёзды и флаги
И в бонбоньерки не клали малаги.
Свечки не свечки, даже они
Штифтики грима, а не огни.
Это волнующаяся актриса
С самыми близкими в день бенефиса.
Как я люблю её в первые дни,
Перед кулисами в кучке родни!

Яблоне — яблоки, ёлочке — шишки.
Только не этой. Эта в покое.
Эта совсем не такого покроя.
Это — отмеченная, избранница.
Вечер её вековечно протянется.
Этой нимало не страшно пословицы.
Ей небывалая участь готовится:

В золоте яблок, как к небу пророк,
Огненной гостьей взмыть в потолок.

Как я люблю её в первые дни,
Когда о ёлке толки одни!

1941

НА РАНИИХ ПОЕЗДАХ

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде
Вставали вѣтлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
А я шёл на шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг,
Прожектор нёсся всей машиной
На оглушённый виадук.

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врождѣнной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты

Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладёт нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всём разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведённые, взасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двойкий,
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черёмуховым свежим мылом
И пряниками на меду.

1941

О П Я Т Ь В Е С Н А

Поезд ушёл. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг, что за новая, право, причуда:
Сутолка, кумушек пересуды...
Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнова, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она.
Это её чародейство и диво.
Это её телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льётся безумолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.

Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду водяном быстрина.
Лампой всячего водопада
К круче с шипеньем пригвождена.
Это, зубами стуча от простуды,
Льётся чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья — бред бытия.

ДРОЗДЫ

На захолустном полустанке
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки
В кустарнике у полотна.

Бескрайный, жаркий, как желанье,
Прямой просёлочный простор.
Лиловый лес на заднем плане.
Седого облака вихор.

Лесной дорогою деревья
Заигрывают с пристяжной.
По углубленьям на корчевье
Фиалки, снег и перегной.

Наверное, из этих впадин
И пьют дрозды, когда взамен
Раззванивают слухи за день
Огнём и льдом своих колен.

Вот долгий слог, а вот короткий,
Вот жаркий, вот холодный душ.
Вот что выделывают глоткой,
Лужённой лоском этих луж.

У них на кочках свой посёлок,
Подглядыванье из-за штор,
Шушуканье в углах светёлок
И целодневный таратор.

По их распахнутым покоям
Загадки в гласности снуют.

У них часы с дремучим боем,
Им ветви четверти поют.

Таков притон дроздов тенистый.
Они в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру.

1941

II

СТРАШНАЯ СКАЗКА

Всё переменится вокруг.
Отстроится столица.
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.

Не сможет позабыться страх,
Изборождавший лица.
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться.

Запомнится его обстрел.
Сполна зачтётся время,
Когда он делал, что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.

Настанет новый, лучший век.
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

1941

БОБЫЛЬ

Грустно в нашем саду.
Он день ото дня краше.
В нём и в этом году
Жить бы полною чашей.

Но обитель свою
Разлюбил обитатель.
Он отправил семью,
И в краю неприятель.

И один, без жены,
Он весь день у соседей,
Точно с их стороны
Ждёт вестей о победе.

А повадится в сад
И на пункт ополченский,
Так глядит на закат
В направлении к Смоленску.

Там в вечерней красе,
Мимо Вязьмы и Гжатска,
Протянулось шоссе
Пятитонкой солдатской.

Он ещё не старик
И укор молодёжи,
А его дробовик
Лет на двадцать моложе.

1941

ЗАСТАВА

Садясь, как куры на насест,
Зарёй заглядывают тени
Под вечереющий подъезд,
На кухню, в коридор и сени.

Приезжий видит у крыльца
Велосипед и две винтовки
И поправляет дерева
В пучке воздушной маскировки.

Он знает: этот мирный вид —
В обман вводящий пережиток.
Его попутчиц ослепит
Огонь восьми ночных зениток.

Деревья окружат блиндаж.
Войдут две женщины, робея,
И спросят, наш или не наш,
Лвя ворчанье из траншеи.

Украдкой, ёжась, как в мороз,
Вернутся горожанки к дому
И позабудут бомбовоз
При зареве с аэродрома.

Они увидят, как патруль,
Меж тем как пламя кровель светит,
Крестом трассирующих пудь
Ночную нечисть в небе метит.

И вдруг взорвётся небосвод,
И, догорая над посёлком,
Чадащей плашкой упадёт
Налётчик, сшибленный осколком.

СМЕЛОСТЬ

Безыменные герои
Осаждённых городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Вы ложились на дороге
И у взрытой колеи
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Вы брались рукой умелой —
Не для лести и хвалы,
А с холодным знанием дела —
За ружейные стволы.

И не только жажда миценья,
Но спокойный глаз стрелка,
Как картонные мишени,
Пробивал врагу бока.

Между тем слепое что-то,
Опьяняя и кружа,

Увлекало вас к пролёту
Из глухого блиндажа.

Там в неистовстве наитья
Пела буря с двух сторон.
Ветер вам свистел в прикрытье:
Ты от пуль заворожён.

И тогда, чужие миру,
Не причислены к живым,
Вы являлись к командиру
С предложеньем боевым.

Вам казалось — всё пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.

Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.

СТАРЫЙ ПАРК

Мальчик маленький в кроватке,
Бури озверелый рёв,
Каркающих стай девятки
Разлетаются с дерёв.

Раненому врач в халате
Промывал вчерашний шов;
Вдруг больной узнал в палате
Друга детства, дом отцов.

Вновь он в этом старом парке.
Заморозки по утрам.
И когда кладут припарки,
Плачут стёкла первых рам.

Голос нынешнего века
И виденья той поры
Уживаются с опекой
Терпеливой медсестры.

По палате ходят люди.
Слышно хлопанье дверей.
Глухо ухают орудья
Заозёрных батарей.

Солнце низкое садится.
Вот оно в затон впилося
И оттуда длинной спицей
Протыкает даль насквозь.

И минуты две оттуда
В выбоины на дворе

Льются волны изумруда,
Как в волшебном фонаре.

Зверской боли крепнут схватки,
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки,
Чёрные девятки трэф.

Вихрь качает липы, скрючив,
Буря гнёт их на корню,
И больной под стоны сучьев
Забывает про ступню.

Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон,
И славянофил Самарин
Послужил и погребён.

Здесь потомок декабриста,
Правнук русских героинь,
Бил ворон из монтекристо
И одолевал латынь.

Если только хватит силы,
Он, как дед, энтузиаст,
Прадеда славянофила
Пересмотрит и издаст.

Сам же он напишет пьесу,
Вдохновлённую воинс.й,
Под немолчный ропот леса,
Лёжа, думает больной.

Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведёт.

ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
Под слёзы ребёнка капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озёрах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обители севера строгого,
Накрытые небом, как крышей,
На вас, захолустные логова,
Написано: сим победиши.

Люблю вас, далёкие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть её задушевней.

Обозы тяжёлые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Вы с детства любимую книгою
Как бы на серёдке открыты.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

ЗАРЕВО

1

Нас время балует победами,
И вещи каждую минуту
Всё сказочнее и неведомей
В зелёном зареве салюта.

Все смотрят, как ракета, падая,
Ударится о мостовую,
За холостую канонадою
Припоминая боевую.

На улице светло, как в хра́мине,
И вид её неузнаваем.
Мы от толпы в ракетном пламени
Горящих глаз не отрываем.

2

В пути из армии нечаянно
На это зарево наехав,
Встречает кто-нибудь окраину
В блистании своих успехов.

Он сходит у опушки рощицы,
Где в чёрном кружеве, узорясь,
Ночное зарево полощется
Сквозь веток реденькую прорезь.

И он сухой листвою шествует
На пункт поверочно-контрольный
Узнать, какую новость чествуют
Зарницами первопрестольной.

Там называют операцию,
Которой он и сам участник,
И он столбом иллюминации
Пленяется, как третьеклассник.

3

И вдруг его машина портится,
Опять с педалями нет сладу.
Ругаясь, как казак на Хортице,
Он ходит, чтоб унять досаду.

И он отходит к вѣтлам, стелющим
Вдоль по лугу холсты тумана,
И остаётся перед зрелищем,
Прикованный красой неожиданной.

Невылазной болотной гущею
Чернеют заросли заречья,
И город, яркий, как грядущее,
Вздымается из тьмы навстречу.

4

Он думает: «Я в нём изведаю,
Что и не снилось мне доселе,
Что я купил в крови победою
И видел в смотровые щели.

Мы на словах не остановимся,
Но, словно в сновиденьи вещем,
Ещё привольнее отстроимся
И лучше прежнего заблещем».

Пока мечтами горделивыми
Он залетает в край бессонный,
Его протяжно, с перерывами,
Зовёт с дороги рѣв клаксона.

СМЕРТЬ САПЁРА

Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она, --
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною, опутана
Вся проволокою колючей.

Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали
Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще
Проходы нужные проделаю
Для битвы, завтра предстоящей.

Вдруг одного сапёра ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастёрке.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани
К жене и детям вверх к Сарапуюлю
И вновь и вновь терял сознание.

Всё в мире может быть издержано,
Изведаны все положенья, —
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но стопами не выдал братьев,
Врождённой стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Когда, убитые потерей,
К нему сошлись мы на прощанье
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колёсики.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Сраженье хлынуло в пробойну
И выкатилось на равнину,

Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.

Пехота шла вперёд маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.

Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Всё, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.

Потом дорогою завещанной
Прошло с победами всё войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.

Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолунье
Своей души не сэкономили
В пластунском деле накануне.

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Мы настигали неприятеля.
Он отходил. И в те же числа,
Что мы бегущих колошматили,
Шли ливни, и земля раскисла.

Когда неожиданно в коноплянике
Показывались мы ватагой,
Их танки скатывались в панике
На дно размокшего оврага.

Везде встречали нас известия,
Как, всё растапывая в мире,
Командовали эти бестии,
Насилуя и дебоширя.

От боли каждый, как ужаленный,
За ними устремлялся в гнев
Через горящие развалины
И падающие деревья.

Деревья падали, и в хворосте
Лесное пламя бесновалось.
От этой сумасшедшей скорости
Всё в памяти перемешалось.

Своих грехов им прятать не во что.
И мы всегда припоминали
Подобранную в поле девочку,
Которой тешились каналы.

За след руки на мёртвом личике
С кольцом на пальце безымянном

Должны нам заплатить обидчики
Сторицею и чистоганом.

В неистовстве как бы молитвенном
От трупа бедного ребёнка
Летели мы по рвам и рытвинам
За душегубами вдогонку.

Тянулись тучи с промежутками
И сами, грозные, как туча,
Мы с чертовнёй и прибаутками
Давили гнёзда их гадючьи.

1944

РАЗВЕДЧИКИ

Синело небо. Было тихо.
Трещали на лугу кузнечики,
Нагнувшись, низкою гречихой
К деревне двигались разведчики.

Их было трое, откровенно
Отчаянных до молодечества,
Избавленных от пуль и плена
Молитвами в глуби отчества.

Деревня вражеским вертепом
Царила надо всей равниною.
Луга пестрели курослепом,
Ромашками и пастью львиною.

Вдали был сад, деревьев купы,
Толпились немцы белобрысые,
И под окном стояли группой
Вкруг стойки с канцелярской крысою.

Всмотрясь и головы попрятав,
Разведчики, не долго думая,
Пошли садить из автоматов,
Уверенные и угрюмые.

Деревню пересуматошить
Трудов не стоило особенных,
Взвилась подстреленная лошадь,
Мелькнули мёртвые в колдобинах:

И как взлетают арсеналы
По мановенью рук подрывника,

Огню разведки отвечала
Вся огневая мощь противника.

Огонь дал пищу для засечек
На наших пунктах за равниною.
За этой пищею разведчик
И полз сюда, в гнездо осиное.

.

Давно шёл бой. Он был так долог,
Что пропадало чувство времени.
Разрывы мин из шестистволок
Забрасывали небо теменью.

Наверно вечер. Скоро ужин.
В окопах дома щи с бараниной.
А их короткий век отслужен:
Они контужены и ранены.

.

Валили наземь, басурмане.
Зелёноглазые и карие.
Поволокли, как на аркане,
За палисадник в канцелярию.

Фуражки, морды, папиросы
И роем мухи, как к покойнику.
Вдруг первый вызванный к допросу
Шагнул к ближайшему разбойнику.

Он дал ногой в подвздошь вору
И, выхвативши автомат его,
Очистил залпами контору
От этого жулья проклятого.

Как вдруг его сразила пуля.
Их снова окружили кучею.

Два остальных рукой махнули.
Теперь им гибель неминуемая.

Вверху задвигались стропила,
Как бы в ответ их маловерию.
Над домом крышу расщепило
Снарядом нашей артиллерии.

Дом загорелся. В суматохе
Метнулись к выходу два пленника,
И вот они в чертополохе
Бегут задами по гуменнику.

По ним стреляют из-за клетки.
Момент, и не было товарища.
И в поле выбегает третий
И трёт глаза рукою шарящей.

Всё день ещё, и даль объята
Пожаром солнца сумасшедшего.
Но он дивится не закату,
Закату удивляться нечего.

Садится солнце в курослепе,
И вот что, вот что не безделица:
В деревню входят наши цепи,
И пыль от перебежек стелется.

Без памяти, забыв раненья,
Руками на бегу работая,
Бежит он на соединенье
С победоносною пехотою.

НЕОГЛЯДНОСТЬ

Непобедимым — многолетье,
Прославившимся — исполать.
Раздолье жить на белом свете,
И без конца морская гладь.

И русская судьба безбрежней,
Чем может грезиться во сне,
И вечно остаётся прежней
При небывалой новизне.

И на одноимённой грани
Её поэтов похвала,
Историков её преданья
И армии её дела,

И блеск её морского флота,
И русских сказок закрома,
И гении её полёта,
И небо, и она сама.

И вот, на эту ширь раздолья
Глядят из глубины веков
Нахимов в звёздном ореоле
И в медальоне — Ушаков.

Вся жизнь их — подвиг неустанный.
Они, не пожалев сердец,
Сверкают темой для романа
И дали чести образец.

Их жизнь не промелькнула мимо,
Не затерялась вдалеке.

Их след лежит неизгладимо
На времени и моряке.

Они живут свежо и пылко,
Распорядительны без слов,
И чувствуют родную жилку
В горячке гордых парусов.

На боевой морской арене
Они из дымовых завес
Стрелой бросаются в сраженье
Противнику наперерез.

Бегут в расстройстве стаи турок,
За ночью следует рассвет,
На рейде тлеет, как окурок,
Турецкий тонущий корвет.

И, все препятствия осилив,
Ширяет флагманский фрегат,
Размахом вытянутых крыльев
Уже не ведая преград.

ВЕСНА

Всё нынешней весной особое.
Живее воробьёв шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобождённых территорий.

Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И чёрные от слёз обводины
С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги
Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.

Сказанья Чехии, Моравии
И Сербии с весенней негой,
Сорвавши пелену бесправия,
Цветами выйдут из-под снега.

Всё дымкой сказочной подёрнется,
Подобно завиткам по стенам
Боярской золочёной горницы
И на Василии Блаженном.

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвести столетье.

**ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ
Г О Д**

* * *

В нашу прозу с её безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Ещё слутан и свеж первопуток,
Ещё чуток и жуток, как весть.
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождах, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груди огнив.
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлечённая грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчуждёньи колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутёжных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Всё ничтожное мерзко тебе:

1925

ОТЦЫ

Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку,
И уйдёт.
И, однако,
За быстрою сменою лет
Стёрся след,
Словно год
Стал нулём меж девятки с пятёркой,
Стёрся след,
Были нет,
От неё не осталось примет.

Ещё ночь под ружьём,
И заря не взялась за винтовку.
И, однако,
Вглядимся:
На деле гораздо светлей.
Этот мрак под ружьём
Погружён
В полусон
Забастовкой.
Эта ночь —
Наше детство
И молодость учителей.

Ей предшествует вечер
Крушений,
Кружков и героев,
Динамитчиков,
Дагерротипов,
Горенья души.
Ездят тройки по трактам,

Но, фабрик по трактам настроив,
Подымаются Саввы,
И зреют Викулы в глуши.

Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугулки.
Гром позорных телег —
Громыхание первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
С короткой приструнки
На пустырь
И зовётся
Россиєю после реформ.

Это — народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддѣвках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдалённей, чем Пушкин,
И видится,
Точно во сне.

Да и ближе нельзя:
Двадцатипятилетье — в подпольи.
Клад — в земле.
На земле —
Обездушенный калейдоскоп.
Чтобы клад откопать,
Мы глаза
Напрягаем до боли.
Покорясь его воле,
Спускаемся сами в подкоп.

Тут бывал Достоевский.
Затворницы ж эти,
Не чаяв,
Что у них,
Что ни обыск,
То вывоз реликвий в музей,
Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
Утаил
От времён, и врагов, и друзей.

Это было вчера.
И, родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантки —
Наши матери
Или
Приятельницы матерей.

Моросит на дворе.
Во дворце улеглась суматоха.
Тухнут плошки.
Теплынь.
Город вымер и словно оглох.
Облетевшим листом
И кладбищенским чертополохом
Дышит ночь.
Ни души.
Дремлет площадь,
И сон её плох.

Но положенным слогом
Писались и нынче доклады,

И в неведеньи бед
За Невою пролётка гремит:
А сентябрьская ночь
Задышается
Тайною клада,
И Степану Халтурину
Спать не даёт динамит.

Эта ночь простоит
В забытьи
До времён Порт-Артура.
Телеграфным столбам
Будет дан в жожаки эшафот.
Шопот жертв и депеш,
Участясь,
Усыпит агентуру,
И тогда-то придёт
Та зима,
Когда всё оживёт.

Мы родимся на свет.
Как-нибудь
Подвечернее солнце
Подзовёт нас к окну.
Мы одухотворим наугад
Непривычный закат,
И при зрелище труб
Потрясёмся,
Как потрясса,
Кто б мог
Оглянуться лет на сто назад.

Точно Лаокоон
Будет дым
На трескучем морозе,
Оголясь,
Как атлет,

Обнимать и валить облака.
Ускользящий день
Будет плыть
На железных полозьях
Телеграфных сетей,
Открывающихся с чердака.

А немного спустя,
И светя, точно блудному сыну,
Чтобы шею себе
Этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь,
И с небес
Будут бить ему в спину
Фонари корпусов
Сквозь туман,
Полоса к полосе.

ДЕТСТВО

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Ещё — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца.
В расстояньи версты,
Где столетняя пыль на Диане,
И холсты,
Наша дверь.
Пол из плит,
И на плитах грязца.

Это — дебри зимы.
С декабря воцаряются лампы.
Порт-Артур уже сдан,
Но идут в океан крейсера,
Шлют войска,
Ждут эскадр,
И на старое зданье почтамта
Смотрят сумерки,
Краски,
Палитры
И профессора.

Сколько типов и лиц!
Вот душевнобольной.
Вот тупица.
В этом теплится что-то.
А вот совершенный щенок.
В классах яблоку негде упасть
И жара, как в теплице.

Звон у Флора и Лавра
Сливается с шарканьем ног.

Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослабен,
Омут комнат недвижим
И улица газом жива, —
Раздаётся звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!

Близость праздничных дней.
Четвертные.
Конец полугодя.
Искрясь струнным нутром,
Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра,
Дни идут.
Рождество на исходе.
Сколько отдано ёлкам!
И хоть бы вот столько взамен.

Петербургская ночь.
Воздух пучится чёрною льдиной
От иглистых шагов.
Никому не чинится препон.
Кто в пальто, кто в тулупе.
Луна холодеет полтиной.
Это в Нарвском отделе.
Толпа раздаётся:
Гапон.

В зале гул.
Духота.

Тысяч пять сосчитали деревья.
Сеясь с улицы в сени,
По лестнице лепится снег.
Здесь родильный приют,
И в некрашеном сводчатом чреве
Бьётся об стены комнат,
Комком неприкрашенным,
Век.

Пресловутый рассвет.
Облака в куманике и клюкве.
Слышен скрип галлерей,
И клубится дыханье помой.
Выбегают, идут
С галлерей к воротам,
Под хоругви,
От ворот — на мороз,
На простор,
Подожжённый зимой.

Восемь громких валов
И девятый,
Как даль, величавый.
Шапки смыты с голов.
Спаси, господи, люди твоя!
Слева — мост и канава,
Направо — погост и застава,
Сзади — лес,
Впереди —
Передаточная колея.

На Каменноостровском.
Панели стоят на ходулях.
Смотрят с тумб и киосков.
За шествием плещется хвост
Разорвавших затвор
Перекрёстков

И льющихся улиц.
Демонстранты у парка.
Выходят на Троицкий мост.

Восемь залпов с Невы
И девятый,
Усталый, как слава.
Это —
(Слева и справа
Несутся уже на рысях.)
Это —
(Дали орут:
Мы сочтёмся ещё за расправу.)
Это рвутся
Суставы
Династии данных
Присяг.

Тротуары в бегущих.
Смеркается.
Дню не подняться.
Перекату пальбы
Отвечают
Пальбой с баррикад.
Мне четырнадцать лет.
Через месяц мне будет пятнадцать.
Эти дни, как дневник.
В них читаешь,
Открыв наугад.

Мы играем в снежки
Мы их мнём из валящихся с неба
Единиц
И снежинок,
И толков, присуших поре.
Этот оползень царств,
Это пьяное паданье снега:

Гимназический двор
На углу Поварской
В январе.

Что ни день, то метель.
Те, что в партии,
Смотрят орлами.
Это в старших.

А мы:

Безнаказанно греку дерзим,
Ставим парты к стене,
На уроках играем в парламент
И витаем в мечтах
В нелегальном районе Грузин.

Снег идёт третий день.
Он идёт ещё под вечер.
За ночь
Проясняется.
Утром —
Громовый раскат из Кремля:
Попечитель училища...
Насмерть...
Сергей Александрыч...
Я грозу полюбил
В эти первые дни февраля.

МУЖИКИ И ФАБРИЧНЫЕ

Ещё в марте
Буран
Засыпает все краски на карте.
Нахлобучив башлык,
Отсыпается край,
Как сурок.
Снег лежит на ветвях,
В проводах,
В разветвлениях партий,
На кокардах драгун
И на шпалах железных дорог.

Но не радуется даль.
Как раздолье собой ни любуйся, —
Вёрст на тысячу в ширь,
В небеса,
Как сивушный отстой,
Ударяет нужда
Перегарами спёртого буйства.
Ошибается
На стуже
Стоградусною нищетой.

И уж вот
У господ
Расшибают пожарные снасти,
И громадами зарев
Командует море бород,
И уродует страсть,
И орудуют конные части.
И бушует:
Вставай,

Подымайся,
Рабочий народ.

И бегут и бегут,
На санях,
Через глушь перелесиц,
В чём легли,
В чём из спален
Спасались,
Спалённые в пух.
И весь путь
В сосняке
Ворожит замороженный месяц,
И торчит копылом
И кривляется
Красный петух.

Нагибаясь к саням,
Дышат ели,
Дымятся и ропщут.
Вон огни.
Там уезд.
Вон исправника дружеский кров.
Ещё есть поезда.
Ещё толки одни о всеобщей:
Забастовка лишь шастает
По мостовым городов.

Лето.
Май иль июнь.
Паровозный Везувий под Лодзью.
В воздух вогнаны гвозди.
Отёки путей запеклись.
В стороне от узла
Замирает
Грохочущий отзыв:
Это сыплются стёкла

И струпья
Расстрелянных гильз.

Началось, как всегда.
Столкновение с войсками
В предместьи
Послужило толчком.
Были жертвы с обеих сторон.
Но рабочих зажгло
И исполнило жаждою мести
Избиенье толпы,
Повторённое в день похорон.

И тогда-то
Загрохали ставни,
И город,
Артачась,
Оголённый,
Без качеств,
И каменный, как никогда,
Стал собой без стыда.
Так у статуй,
Утративших зрячесть,
Пробуждается статность.
Он стал изваяньем труда.

Днём закрылись конторы.
С пяти прекратилось движение.
По безжизненной Лодзи
Бензином
Растёкся закат.
Озлобленье рабочих
Избрало разъезды мишенью.
Обезлюдивший город
Опутала сеть баррикад.

В ночь стянули войска.
Давши залп с мостовой,

Пресноту парусов
Оттесняет назад
Одинакость
Помешавшихся красок,
И близится ливня стена.
И всё ниже спускается вебо
И падает накось,
И летит кувырком,
И касается чайками дна.

Гальванической мглой
Взбаламученных туч,
Неуклюже,
Вперевалку, ползком,
Пробираются в гавань суда.
Синеногие молнии
Лягушками прыгают в лужу.
Голенастые снасти
Швыряет
Туда и сюда.

Всё собиралось всхрапнуть.
И карабкались крабы,
И к центру
Тяжелевшего солнца
Клонились головки репья.
И мурлыкало море,
В версте с половиной от Тендра,
Серый кряж броненосца
Оранжевым крапом
Рябя.

Солнце село.
И вдруг
Электричеством вспыхнул «Потёмкин».
Со спардека на камбуз
Нахлынуло полчище мух.

Мясо было с душиком...
И на море упали потёмки.
Свет брызжал до зари
И забрезжившим утром потух.

Глыбы
Утренней зыби
Скользнули,
Как ртутные бритвы,
По подножью громады,
И, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец
И ожил.
Пропели молитву.
Стали скатывать палубу.
Вынесли в море щиты.

За обедом к котлу не садились,
И кушали молча
Хлеб да воду,
Как вдруг раздалось:
— Все на ют!
По местам!
На две вахты! —
И в кителе некто,
Чернея от жёлчи,
Гаркнул:
— Смирно! —
С буксирного кнехта
Грозя семистам.

— Недовольство?!
Кто кушать, -- к котлу.
Кто не хочет, — на рею.
Выходи! —
Вахты замерли, ахнув.
И вдруг, сообщая,

Устремились в смятеньи
От кнехта
Бегом к батарее.
— Стой!
Довольно! —
Вскричал
Озверевший апостол борща.

Часть бегущих отстала.
Он стал поперёк.
— Снова шашни?! —
Он скомандовал:
— Боцман,
Брезент!
Караул, оцепить! —
Остальные,
Забившись толпой в батарейную башню,
Ждали в ужасе казни,
Имевшей вот-вот наступить.

Шибко бились сердца.
И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
— Братцы!
Да что ж это! —
И, волоса шевеля:
— Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здравствует воля! —
Лязгом стали и ног
Откатилось
К лапам корабля.

И восстанье взвилось,
Шелестя,
До высот за бизанью.

И раздулось,
И там
Кистенём
Описало дугу.
— Что нам взапуски бегать!
Да стой же, мерзавец!
Достану! —
Трах-тах-тах...
Вынос кисти по цели,
И залп на бегу.

Трах-тах-тах...
И запрыгали пули по палубам.
С палуб,
Трах-тах-тах...
По воде,
По пловцам,
— Он ещё на борту?! —
Залпы в воду и в воздух.
— Ага!
Ты звереешь от жалоб?! —
Залпы, залпы,
И за ноги за борт
И марш в Порт-Артур.

А в машинном возились,
Не зная ещё хорошенько,
Как на шканцах дела,
Когда, тенью проплыв по котлам,
По машинной решётке
Гигантом
Прошёл
Матюшенко
И, нагнувшись над адом,
Вскричал:
— Стёпа!
Наша взяла! —

Машинист поднялся.
Обнялись.
— Попытаем без нянек.
Будь покоен!
Под стражей.
А прочим по пуле и вплавь.
Я зачем к тебе, Стёпа, —
Каков у нас младший механик? —
— Есть один. —
— Ну и ладно.
Ты мне его наверх отправь. —

День прошёл.
На заре,
Облачась в дымовую завесу,
Крикнуя в рупор матросам матрос:
— Выбирай якоря! —
Голос в облаке смолк.
Броненосец пошёл на Одессу,
По суровому кряжу
Оранжевым крапом
Горя.

СТУДЕНТЫ

Бауман!
Траурным маршем
Ряды колыхавшее имя!
Шагом,
Кланяясь флагам,
Над полной голов мостовой
Волочились балконы,
По мере того
Как под ними
Шло без шапок:
«Вы жертвою пали
В борьбе роковой».

С высоты одного,
Обеспамятев,
Бросился сольный
Женский альт.
Подхватили.
Когда же и он отрыдал,
Смогло всё.
Стало слышно,
Как колет мороз колокольни.
Вихри сахарной пыли,
Свистя,
Пронеслись по рядам.

Хоры стихли вдали.
Залохматилась тьма.
Подворотни
Скрыли хлопья.
Одёрнув
Передники на животе,

К Моховой от Охотного
Двинулась чёрная сотня,
Соревнуя студенчеству
В первенстве и правоте.

Где-то долг отдавался последний,
И он уже воздан.
Молкнет карканье в парке,
И прах на Ваганькове —
Нем.
На погостной траве
Начинают хозяйничать
Звёзды.
Небо дремлет,
Зарывшись
В серебряный лес хризантем.

Тьма.
Плутанье без плана,
И вдруг,
Как в пролёте чулана,
Угол улицы — в жёлтом ожоге.
На площади свет!
Вьюга лошадю пляшет буланой.
И в шапке улана
Пляшут книжные лавки,
Манеж
И университет.

Ходит, бьётся безлюдье,
Бросая бессонный околыш
К кровле книжной торговли.
Но только
В тулюю из огня
Входят люди, она
Оглашает залпами —
«Сволочь!»

Замешательство.

Крики:

«Засада!

Назад!»

Беготня.

Ворота на запоре.

Ломай!

Подаются.

Пролёты,

Входы, вешалки, своды.

«Позвольте. Сойдите с пути!»

Ниши, лестницы, хоры,

Шинели, пробирки, кислоты.

«Тише, тише.

Кладите.

Без пульса. Готов отойти».

Двери врозь.

Вздых в упор

Купороса и масляной краски.

Кольты прочь,

Польта на пол,

К шкапам, засуча рукава.

Эхом в ночь:

«Третий курс!

В реактивную, на перевязку!» —

«Снегом, снегом, коллега». —

«Ну, как?» —

«Да куда. Чуть жива».

А на площади группа.

Завейный тьмой Ломоносов.

Лужи тёплого вара.

Курающийся кровью мороз.

Трупы в позах полёта.

Шуршащие складки заноса.

Снято снегом,
Проявлено
Вечностью, разом, вразброс.

Мыльный звон пузырей.
Это в колбы палатных беспамятств
Вмуровалось
Сквозь стенку
Несущейся сходки вытьё:
«Протестую! Долой!»
Двери вздрагивают, упрямясь:
Млечность матовых стёкол
И марля на лбах.
Забытьё.

1925

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Поля и даль распластывались эллипсом.
Шелка зонтов дышали жаждой грома,
Палящий день бездонным небом целился
В трибуны скакового ипподрома.

Народ потел, как хлебный квас на лёднике,
Приворожённый таяньем дистанций.
Крутясь в смерче копыт и наголенников,
Как масло, били лошади пространство.

А позади, размерно-бьющим веяньем
Какого-то подземного начала
Военный год взвивался за жокеями,
И лошадьми, и спицами качалок.

О чём бы ни шептались, что бы нё пили,
Он рос кругом, и полз по переходам,
И вмешивался в разговор, и пепельной
Щепоткою примешивался к водам.

Всё кончилось. Настала ночь. По Киеву
Пронёсся мрак, швыряя ставень в ставень.
И хлынул дождь. И вот, как в дни Батыевы,
Ушедший день стал страшно стародавен.

«Я вам писать осмеливаюсь. Надо ли
Напоминать? Я тож моряк на дерби.
Вы мне тогда одну загадку задали.
А впрочем, после, после. Время терпит.

Когда я увидал вас... Но до этого
Я как-то жил и вдруг забыл об этом,
И разом начал взглядом вас преследовать,
И потерял в толпе за турникетом.

Когда прошёл столбняк моей бестактности,
Я спохватился, что не знаю, кто вы.
Дальнейшее известно. Трудно стакнуться,
Чтоб встретиться столь баснословно снова.

Вы вдумались ли только в то, какое здесь
Раздолье вере! — Оскорбиться взглядом,
Пропасть в толпе, случиться ночью в поезде,
Одёрнуть зонг и очутиться рядом!»

3

Над морем бурный рубчик
Рубиновой зари.
А утро так пустынно,
Что в тишине, граничащей
С утратой смысла, слышно,
Как, что-то сиясь вытащить,
Гремит багром пучина
И шарит солнце по дну,
И щупает багром.

И вот в клоаке водной
Отыскан диск всевидящий.
А Севастополь спит ещё,

И утро так пустынно,
Кругом такая тишь,
Что на вопрос пучины, —
Откуда этот гром,
В ответ пустые пристани:
От плеска волн по диску,
От пихт, от их неистовства,
От стука сонных лиственниц
О черепицу крыш.

Известно ли, как влюбчиво
Бездомное пространство?
Какое море ревности
К тому, кто одинок!
Как, по извечной странности,
Родимый дух почувствовав,
Летит в окошко пустошь,
Как гость на огонёк.
Известно ль, как навязчива
Доверчивость деревьев?
Как, в жажде настоящего,
Ночная тишина,
Порвавши с ветром с вечера,
Порывом одиночества
Влетает, как налётчица,
К незнающему сна?
За неимением лучшего
Он ей в герои прочится.
Известно ли, как влюбчива
Тоска земного дна?

Заре, корягам якорным,
Волнам и расстояньям
Кого-то надо выделить,
Спасти и отстоять.
По счастью, утром ранним
В одноэтажном флигеле

Не спит за перепиской
Таинственный моряк.

Всю ночь он пишет глупости.
Вздремнёт и скок с дивана.
Бежит в воде похлопаться,
И снова на диван.
Потоки света рушатся,
Урчат ночные ванны,
Найдёт волна кликушества,
Он сызнава под кран.

«Давайте посчитаемся.
Едва сюда я прибыл,
Я всё со дня приезда
Вношу для вас в реестр
И вам всю душу выболтал
Без страха, как на таинстве,
Но в этом мало лестного,
И тут великий риск.
Опасность увеличится
С течением дней дождливых.
Моя словоохотливость
Заметно возрастёт.
Боюсь, не отпугнёт ли вас
Тогда моя болтливость?
Вы отмолчитесь, скрытчица,
Я ж выболтаюсь вдрызг.

Вы скажете — ребячество.
Но близягся события.
А ну как в их разгаре
Я скроюсь с ваших глаз?
Едва ль они насытятся
Одной живою тварью:
Ваш образ тоже спрячется,
Мне будет не до вас.

Я оглушусь их грохотом
И вряд ли уцелею.
Я прокачусь их эхом,
А эхо длится миг.
И вот я с просьбой крохотной:
В виду моей затей
Нам с вами надо б съехаться
До них и ради них».

4

Октябрь. Кольцо забастовок.
О ветер! О ада исчадьё!
И моря, и грузов, и клади
Летящие пряди.
О буря брошюр и листовок!
О слякоть! О темень! О зовы
Сирен, и замки и засовы
В начале шестого.

От тюрем — к брошюрам и бурям.
О ночи! О вольные речи!
И залпам навстречу — увечья
Отвесные свечи!

О кладбище в день погребенья!
И в лад лейтенантовой клятве
Заплаканных взглядов и платьев
Кивки и объятья!
О лестницы в крепе! О пеньё!
И хором, в ответ незнакомцу,
Стотысячной бронзой о бронзу:
Клянитесь! Клянёмся!

О вихрь, обрывающий фразы,
Как клёны и вязы! О ветер,

Щадающий из связей на свете
Одни междометья!
Ты носишь бушующей гладью:
«Потомства и памяти ради
Ни пяди обратно! Клянитесь!»
«Клянёмся. Ни пяди!»

5

Постойте! Куда вы? Читать? Не дотолчётесь!
Все спёрлось в беспорядке за фортами, и земля,
Ничего не боясь, ни о чём не заботясь,
Парит растрёпой по ветру, как бог пошлёт,
крыля.

Ещё вчерашней ночью гуляющих заботил
Ежевечерний очерк севастопольских валов,
И вороньё редутов из вереницы мётел
В полёте превращалось в стаю пёсших голов.
Теперь на подъездах расклеен оттиск
Сырого манифеста. Ничего не боясь,
Ни о чём не заботясь, обкладывает подпись
Подклейстеренным пластырем следы недавних язв.
«Даровать населению незыблемые основы
Гражданской свободы. Установить, чтоб
никакой...»

И, зыбким киселём заслякотив засовы,
На подлинном собственной его величества рукой.

Хотя ещё октябрь, за дряблой дрожью вётел
Уже набрякли сумерки хандрою ноября.
Виной ли манифест, иль дождик разохотил, —
Сапёры месят слякоть, и гуляют егеря.
Дан в Петергофе. Дата. Куда? Свои! Не бойтесь!
В порту торговом давка. Солдаты, босяки.
Ничего не боясь, ни о чём не заботясь,
Висят замки в отёках картофельной муки.

Три градуса выше нуля.
Продрогшая земля.
Промозглое облако во сто голов
Сечёт крупой подошвы стволов.
И лоском олова берясь
На градоносном бризе,
Трепещет листьев неприязнь
К прикосновенью слизи.

И голая ненависть листьев и лоз
Краснеет до корней волос.
Не надо. Наземь. Руки врозь!
Готово. Началось.
Айва, антоновка, кизил,
И море Чёрное вблизи:
Ращенье гор, и поворот,
И в уши и за уши, изо рта в рот.
Ушаты холода. Куски
Гребнистой, ослеплённо скотской
В волненьи глотающей волны, как клёцки,
Сквозной, ристалищной госки.

Агония осени. Антагонизм
Пехоты и морских дивизий
И агитаторша-девица
С жаргоном из аптек и больниц.

И каторжность миссии: переорать
(Борьба, борьбы, борьбе, борьбою,
Пролетарьят, пролетарьят)
Иронию и соль прибоя,
Родящую мягеж в ушах
В семидесяти падежах.
И радость жертвовать собою.
И — случая слепой каприз:

Одышливость тысяч в бушлатах по-флотски
Толпою в волненьи глотающих клёцки
Немыслимых слов с окончаньем на изм,
Нерусских на слух и неслыханных в жизни
(А разве слова на казённом карнизе
Казармы, а разве морские бои,
А признанные отчизной слои —
Свой?!)

И упоенье героини,
Летящей из времён над синей
Толпою, — головою вниз,
По переменной атмосфере
Доверия и недоверья,
В иронию солёных брызг.

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По колизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живём по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.

7

Вдруг кто-то закричал: пехота!
Настал волненья апогей.
Амуниционный шорох роты
Командой грохнулся: к ноге!
В ушах шатался шаг шоссеиный
И вздрагивал, и замирал.
По строю с капитаном Штейном
Прохаживался адмирал.

«Я б ждать не стал, чтоб чирей вызрел.
Я б гнал и шпарил по пятам.
Предлогов тьма. Случайный выстрел,
И — дело в шляпе, капитан».
«Parlez plus bas, — заметил сухо
Другой. — Притом, я не оглох.
Подумайте, какого слуха
Коснуться может диалог».

Шагах в восьми, в пол-оборота,
В струеньи лент, как в вымпелах,
Верста матросских подбородков
Гулявших взглядами жрала.
И вот, едва ушей отряда
Достиг шутливый разговор,
Как грянуло два данных кряду
Нежданных выстрела в упор.

Всё заслонило передрягой.
Изгладилось, как, побелев,
«Ты прав!» вскричал матрос с «Варяга»,
Георгиевский кавалер.
Как, дважды приложась с колена, —
Шварк об землю ружьё, и вмиг
Привстал и, точно куртка тлела,
Стал рвать душивший воротник.
И слышал: одного смертельно,
И знал — другого наповал,
И рвал гайтан и тискал тельник
И рёбер сдерживал обвал.

А уж перекликались с плацом
Дивизии. Уже копной
Ползли и начинали стлаться
Сигналы мачты позывной.
И вдруг зашевелилось море.
Взвились эскадры языки,

И дёрнулись в переговоре
Береговые маяки.

«Ведь ты — не разобрав, без злобы?
Ты стой на том и будешь цел». —
«Нет, вашество, белить не пробуй.
Я вздраве наводил прицел». —
«Тогда, — и вдруг застряло слово —
Кругом, что мог окинуть глаз: —
Ты сам пропал и арестован»,
Восстанья присказка вилась.

8

«Вообрази, чем отвратительней
Действительность, тем письма глаже.
Я это проверил на «Трёх святителях»,
Где третий день содержусь под стражей.

Покамест мне бояться нечего,
Да и — неробкого десятка.
Прими нелепость происшедшего
Без горького осадка.

И так как держать меня ровно не за что,
То и покончим с этим делом.
Вот как спастись от мыслей, лезущих
Без отступа по суткам целым?

Припомнишь мать, и опять безоглядочно
Жизнь пролетает в караване
Изголодавшихся и радужных
Надежд и разочарований.

Оглянешься, — картина целостней.
Чем больше было с нею розни,
Чем чаще думалось: что делать с ней? —
Тем и её ответ серьезней.

И снова я в морском училище.
О, прочь отсюда, на минуту
Вдохнувши мерзости бессилищей!
Дивлюсь, как цел ушёл оттуда.

Ведь это там, на дне военщины
Навек ребёнку в сердце вкован
Облитый мукой облик женщины
В руках поклонников Баркова.

И вновь я болен ей, и ратую
Один, как перст, среди мракобесья,
Как мальчиком в восьмидесятые.
Ты помнишь эту глушь репрессий?

А помнишь, я приехал мичманом
К вам на лето, на перегибе
От перечитанного к личному, —
Ещё мне предрекали гибель?

Тебе пришлось отца задабривать.
Ему, контр-адмиралу, чуден
Остался мой уход... на-фабрику
Сельскохозяйственных орудий.

Взгляни ж теперь, порою выводов
При свете сбившихся иллюзий
На невидаль того периода,
На брата в выпачканной блузе».

9

Окрестности и крепость,
Затянутые репсом,
Терялись в ливне обложном,
Как под дорожным кожаном.
Отёки водянки
Грязнили горизонт,

Суда на стоянке
И гарнизон.
С утра тянулись семьями
Мещане по шоссе
Различных орьентаций,
Со странностями всеми,
В ландо, на тарантасе,
В повальном бегстве все.

У города со вторника
Утроилось лицо:
Он стал гнездом затворников,
Вояк и беглецов.
Пред этим в понедельник
В обеденный гудок
Обезголосел элинг,
И обезлюдел док.
Развёртывались порознь,
Сошлись невпроворот
За слесарно-сборочной
У выходных ворот.
Солдатки и служанки
Исчезли с мостовых
В вихрях «Варшавянки»
И мастеровых.
Влились в тупик казармы
И — вон из тупика,
Клубясь от солидарности
Брестского полка.

Тогда, и тем решительней,
Чем шире рос поток,
Встревоженные жители
Пустгилась наутёк.
Но железнодорожники
Часам уже к пяти
Заставили порожними

Составами пути.
Дорогой, огибавшей
Военный порт, с утра
Катились экипажи,
Мелькали кучера.
Безмолвствуя, потерянно
Струями вис рассвет,
Толстый, как материя,
Как бисерный кисег.

Деревья всех рисунков
Сгибались в три дуги
Под ранцами и сумками
Сумрака и мги.
Вуали паутиной
Топырились по ртам.
Столбы, скача под шины,
Несли ко всем чертям.
Майорши, офицерши
Запахивали плащ.
Вдогонку им, как шершень,
Свистел шоссейный хрящ.
Вставали кипарисы,
Кивали, подходя,
Росли, чтоб испариться
В кисее дождя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вырываясь с моря из-за почты,
Ветер прёт наощупь, как слепой,
К повороту, несмотря на то, что
Тотчас же сшибается с толпой.
Он припёрт к стене ацетиленом,
Втоптан в грязь, и, несмотря на то,
Трын-трава и — море по колено:
Дует дальше с той же прямоюй.
Вот он бьётся, обваривши харю,
За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.

У матросов, несмотря на пору,
И порывы ветра с пустыря,
На дворе казармы — шум и споры
Этой тёмной ночью ноября.
Их галдит за тысячу, и каждым,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
И буграми поднят этот мрак.
Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то, что
Это шторм в открытом море ртов.
Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв
Так и ходят вокруг одной фигуры,
Как распространившийся падёж.
Ходит слух, что он у депутатов,
Ходит слух, что едет в комитет,

Ходит слух, — и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,
И глуша раскатами догадки,
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится «ура».

С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он даёт улечься ей, и снова
Удесятеряет ураган.
Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвётся на простор.
Не словами, — полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.
Это объясненье исполинов.
Он и двор обходятся без слов.
Если с ними флаг, то он — малинов.
Если мрак за них, то он — лилов.
Всё же раз доносится: эскадра.
Это с тем, чтоб братья, да с умом.
И потом другое слово: завтра.
Это, верно, о себе самом.

2

Дорожных сборов кавардак.
«Твоя», твердящая упрямо,
С каракулями на бортах,
Сырая сетка телеграммы.

«Мне тридцать восемь лет. Я сед.
Не обернёшься, глядь — кондрашка».
И с этим об пол хлоп портплед,
Продёрнув ремешки сквозь пряжки.

И на карачках под диван,
Потом от чемодана к шкапу... —

Любовь, горячка, караван
Вещей, переселённых на пол.

Как вдруг звонок, и кабинет
В перекосившемся: о боже!
И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей.

Но двери настезь, и в дверях:
«Я здесь. Я враг кровопролитья». —
«Тогда какой же вы моряк,
Какой же вы тогда политик?

Вы революционер? В борьбу
Не вяжутся в перчатках дамских». —
«Я собираюсь в Петербург.
Не убеждайте. Я не сдамся».

3

Подросток — реалист,
Разняв драпри, исчез
С запиской в глубине
Отцова кабинета.
Пройдя в столовую
И уши наострив,
Матрос подумал:
«Хорошо у Шмидта».

Было это в ноябре,
Часу в четвёртом.
Смеркалось.
Скромность комнат
Спорила с комфортом.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В уютной, как каюта,
Конуре.

Лишь по кутерьме
Пылинок в пятерне портьеры,
Несмело шмыгавших
По книгам, по кошме
И окнам запотелым,
Видно было:

Дело —

К зиме.

Минуты три извне

Не слышалось ни звука

В глухой тиши, как вдруг

За плотными драпри

Проклятья раздались

Так явственно,

Как будто тут внутри.

— Чухнин! Чухнин!?

Погромщик бесноватый!

Виновник всей брехни!

Разоружать суда?

Нет, клеветник,

Палач,

Инсинуатор,

Я научу тебя, отродье ката, отличать

От правых виноватых!

Я Черноморский флот, холоп и раб,

Забью тебе, как кляп, как клёпку, в глотку.

И мигом ока двери комнаты вразлёт.

Буфет, стаканы, скатерть, —

— Катер?

— Лодка!

В ответ на брошенный вопрос — матрос,

И оба — вон, очаковец за Шмидтом,

Невпопад, не в ногу, из дневного

понемногу в ночь,

Наугад куда-то, вперехват закату

По размытым рытвинам садовых гряд.

В наспех стянутых доспехах
Жарких полотняных лат,
В плотном, потном, зимнем платье
С головы до пят,
В облака, закат и эхо
По размытым, сбитым плитам
Променад.

Потом бегом. Сквозь поросли укропа,
Опрометью с оползня в песок,
И со всех ног, тропой наискосок
Кругом обрыва. Топот, топот, топот,
Топот, топот, — поворот — другой —
И вдруг, как вкопанные, стоп!
И вот он, вот он весь у ног,
Захлёбывающийся Севастополь,
Весь вобранный, как воздух, грудью двух
Бездонных бухт,
И полукруг
Затопленного солнца за «Синопом».
С минуту оба переводят дух,
И кубарем с последней кручи — бух
В сырую грудю рухнувшего бута.

4

В зимней призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман
Путаницей мачт,
И купаясь, как в росе,
Оторопью рей
В серебре и перламутре
Полумёртвых фонарей.
Еле-еле лебезит
Утренняя зыбь.
Каждый еле слышный шелест,
Чем он мельче и дряблей,

Отдаётся дрожью в теле
Кораблей.

Он спит, притворно занедужась,
Могильным сном, вогнав почти
Трёхверстную округу в ужас.
Он спит, наружно вызвав штиль.
Он скрылся, как от колотушек,
В молочно-белой мгле. Он спит
За пеленою малодушья
Но чем он спанталыку сбит?

С утра на суше — муравейник.
В тумане тащатся войска.
Всего заметней их роенье
Толпе у Павлова мыска.
Пехотный полк из Павлограда
С тринадцатою полевой
Артиллерийскою бригадой
И — проба потной мостовой.
Колёса, кони, пулемёты,
Зарядных ящиков разбег,
И — грохот, грохот до ломоты
Во весь Нахимовский проспект.
На Историческом бульваре,
Куда на этих днях свезён
Военный лом былых аварий, —
Донцы и Крымский дивизьон.

И любопытство, любопытство:
Трёхвёрстный берег под тупой,
Пришедшей пить или топиться,
Тридцатитысячной толпой.
Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепах,
И ковш Приморского бульвара,
И спуска каменный черпак.

Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птиц,
Копящих силы по карнизам,
Чтоб вихрем гари в ночь нестись.

Когда сбежали испаренья,
И солнце, колыхнувши флот,
Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,
В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара — крейсер под парами,
Как кочегар у очага.

5

Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трёхверстовой гранит,
И откатился с плит.
«Ура» — ударом в борт, в штурвал,
В бушприт!
«Ура» навеки, наповал,
Навзрыд!
Над крейсером взвился сигнал:
«Командую флотом. Шмидт».

Он вырвался, как вздох
Со дна души рядна,
И не его вина,
Что не предостерѣг
Своих, и их застиг врасплох,
И рвѣтся, в поисках эпох,
В иные времена.

Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей

В осиннике снастей.

Над крейсером взвился сигнал:
«Командую флотом. Шмидт».

И мачты рейда, как одна:
Он ими вынесен и смыт
И перехвачен второпях
На двух — на трёх — на четырёх
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков,
И облетает лес флажков,
И по верёвке, как зверёк,
Спускается кумач.
А зверь, ползущий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский — томящ,
Как рок.

6

Внутри настала ночь. Снаружи
Зарделся движущийся хвост
Над войском всех родов оружия
И свойств.

Он лез, грабастая овраги
И треском разгонял толпу,
И пламенел, и гладил флаги
По лбу.

Как сумерки, сгустились снасти.
В ревущей, хлещущей дряпне
Пошла валить, как снег в ненастье,
Шрапнель.

Она рвалась в лету, на жнивьях,
В расцвете лет людских, в воде,
Рождая смерть и визг, и вывих
Везде.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

«Всё отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всею силой чутья:
Жребий завиден. Я жил и отдал
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем — у цели
И по пути в пустыках не увяз.
Крут был подъём, и сегодня, в сочельник,
Ошеломляюсь, остановясь.

Но объясни. Полюбив даже вора,
Как не рвануться к нему в каземат
В дни, когда всюду только и спору,
Нынче его или завтра казнят.

Ты ж предпочла омрачить мне остаток
Дней. Прости мне эти слова.
Спор подогнал бы таянье святок.
Лучше задержим бег рождества.

Где он, тот день, когда, вскрыв телеграмму,
Всё позабыв за твоим «навсегда»,
Жил я мечтой, как помчусь и нагряну?
Как же, ты скажешь, попал я сюда?

В вечер её получения был митинг,
Я предрекал неуспех мятежа,
Но уж ничто не могло вразумить их.
Ехать в ту ночь — означало бежать.

О, как рвался я к тебе! Было пыткой
Браться и знать, что народ не готов,
Жертвовать встречей и видеть в избытке
Доводы в пользу других городов.

Вера в разъезд по фабричным районам,
В новую стачку и новый подъём,
Может, сплеталась во мне с затаённым
Чувством, что ездить будем вдвоём.

Но повалила волна deputаций,
Дума, эсдеки, звонок за звонком.
Выехать было нельзя и пытаться.
Вот и кончаю бунтовщиком.

Кажется, всё. Я гораздо спокойней,
Чем ожидают. Что, бишь, ещё?
Да, а насчёт севастопольской бойни
В старых газетах — полный отчёт».

2

Послепогромной областью почтовый поезд в
Ромны
Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает
путь.
Снаружи — вихря гарканье, огарков проблеск
тёмный,
Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть.
Огни и искры чиркают, и дым над изголовьем
Бежит за пассажиркою по лестницам витым.
В одиннадцать, не вынеся немолчного злословья,
Она встаёт, и — к выходу на вызов клеветы.
И молит, в дверь просунувшись: «Прошу вас, не
шумите...
Нельзя же до полуночи!» И разом в лязг и дым

Уносит оба голоса и выдумку о Шмидте,
И вьёт и тащит по лесу по лестницам витым.
Наверно, повод есть у ней, отворотясь к
простенку,
Рыдать, сложа ответственность в сырой комок
платка.
Вы догадались, кто она. — Его корреспондентка.
В купе кругом рассованы конверты моряка.

А в ту же ночь в Очакове, в пурге и мыльной
пене,
Полощет створки раковин песчаная коса.
Постройки есть на острове, острог и укрепление.
Он весь из камня острого, и — чайки на часах.
И неизвестно едущей, что эта крепость-тёзка
(Очаков — крёстный дедушка повстанца-корабля)
Таит по злой иронии звезду надежд матросских,
От взора постороннего прибором отделя.

Но что пред забастовкою почтово-телеграфной
Все тренья и неловкости во встрече двух сердец!
Теперь хоть бейся об стену в борьбе с судьбой
неравной,
Дознаться, где он, собственно, нет ни малейших
средств.
До Ромен не доехать ей. Не скрыться от мороки.
Беглянка видит нехотя: забвенья мет в езде,
И пешую иль бешено катящую, с дороги
Её вернут депешю к её дурной звезде.

Тогда начнутся поиски, и-происки, и слёзы,
И двери тюрем вскроются, и, вдоволь очернив,
Сойдутся поспоровистей объятья пьяной прозы,
И смерть скользнёт по повести, как оттиск
пятерни.

И будет день посредственный, и разговор в
 передней,
 И обморок, и шествие по лестнице витой,
 И тонущий в периодах, как камень, миг
 последний,
 И жажда что-то выудить из прорвы прожитой.

3

Как памятен ей этот переход!
 Приезд в Одессу ночью новогодней.
 С какою неохотой пароход
 Стал подымать в ту непогоду сходни!
 И утренней картины не забыть.
 В ушах шумело море горькой хиной.
 Снег перестал, но продолжали плыть
 Обрывки туч, как кисти балдахина.

Потом вдали из кучки пирамид
 Привстал маяк поганкою мухортой.
 «Мадам, вот остров, где томится Шмидт». —
 И публика шагнула вправо к борту.
 Когда пороховые погреба
 Зашли за строй барачных карантинных,
 Какой-то образ трупного гриба
 Остался гнить от виденной картины.

Понурый, хмурый чёрный островок
 Несло водой, как шляпку мухомора.
 Кружась в водовороте, как плевков,
 Он затонул от полного измора.
 Тем часом пирамиды из химер
 Слагались в город, становились твёрже
 И вдруг, застав слезами глазомер,
 Образовали крепостные горжи.

Уездная глушь захолустья.
 Распев петухов по утрам
 И холостящий устье
 Весенний флюс Днепра.
 Таким дрянным городишкой
 Очаков во плоти
 Встаёт, как смерть, притихши
 У шмидтовцев на пути.

Похоже, с лент матросских
 Сошедши без следа,
 Он стал землёй в отместку
 И местом для суда.
 Две крепости, два погоста
 Да горсточка халуп,
 Свиной и галок вдосталь
 И офицерский клуб.

Без преувеличенья
 Ты слышишь в эту тишь,
 Как хлопаются тени
 С пригретых солнцем крыш.
 И звякнет ли шпорами ротмистр,
 Прослякотит ли солдат,
 В следах их — соли подмесь.
 Вся отмель, точно в сельдях.

О, суши воздух ковкий,
 Земли горячий фарш!
 «Караул, в винтовки!
 Партия, шагом марш!»
 И, вбок косясь на приезжих,
 Особым скоком сорок
 Сторонится побережье
 По их пути в острог!

О, воздух после грюма,
И высадки триумф!
Но в этот час угрюмый
Ничто нейдёт на ум.
И горько, как на расстанках,
Качают головой
Заборы, арестанты,
И кони, и конвой.

Прошли, — и в двери с бранью
Костяшками бьёт тишина...
Военного собранья
Фисташковая стена.
Из зал выносят мебель.
В них скоро ворвётся гул.
Два писаря. Фельдфебель.
Казачий подъесаул.

5

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтение, чтение, чтение, несмотря на
Головокруженье, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слёз и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

Чтение, несмотря на то, что рано
Или поздно, сами, будет день,
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,

Будут высшие соображенья
И капли вешней дребедень.
Будут схватки астмы. Будет чтение,
Чтение, чтение без конца и пауз.
Вёрсты обвинительного акта.
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского гракта,
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.
Шапку в зубы, — да минуй озноб!
Мысль о казни — топи непролазней:
С лавки съедешь, с головой увязнешь,
Двинешься, чтоб вырваться, и — хлоп.
Тормошат, повёртывают навзничь,
Огливают, волокут, как сноп.

В перерывах — таска на гауптвахту
Плотной кучей, в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: осади!
Утки — крякать, курицы — кудахтать,
Свист нагаек, взбрызги колени.
Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спахтан!
Эти лица, и в толпе — свои!
Эти бабы, плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: осади!

6

Кому-то стало дурно.
Казалось, жуть минуты
Простёрлась от Кинбурна
До хуторов и фольварков
За мысом Тарканхутом.
Послышалось сморканье
Жандармов и охранников,

И жилы вздулись жолвями
На лбах у караульных.
Забывши об уставе,
Конвойные оставили
Полуживые ружья
И тёрли кулаками
Трясущиеся скулы.

При виде этой вольности
Кто-то безотчётно
Полез уж за револьвером,
Но так и замер в позе
Предчувствия чего-то,
Похожего на бурю,
С рукой на кобуре.
Волнение предгрозя
Окуталось удушьем,
Давно уже идущим
Откуда-то от Ольвии.

И вот он поднялся.
Слепой порыв безмолвия
Стянул гусиной кожей
Тазы и пояса,
И, протавившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За пазухи и шапки,
Заполз под волоса.

И, точно шла работа
По сборке эшафота,
Стал слышен частый стук
Полутораста штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.
Все были предупреждены,
Но это превзошло расчёты.

«Тише!» — крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Как вы, я — часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрёка.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертва века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду и не теряю.

В те дни, — а вы их видели,
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью».

Двум из осуждённых, а всех их было четверо, —
 Думалось ещё — из четырёх двоим.
 Ветер гладил звёзды горячо и жертвенно
 Вечным чем-то, чем-то зиждущим, своим.

Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе,
 Удаляясь к людям в спящий городок.
 Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы.
 Тихо, миг за мигом рос её приток.

Близился конец, и не спалось тюремщикам.
 Быть в тот миг могло, примерно, два часа.
 Зыбь переминалась, пожирая жемчуг.
 Так, чем свет, в конюшнях дремлет хруст овса.

Остальных пьянила ширь весны и каторги.
 Люки были настезь, и, точно у миног,
 Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
 Транспорт колыхался, как сонный осьминог.

Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
 «Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
 Свет повёл ноздрями, пробираясь к жертвам.
 Заскрипели петли. Упал железный трап.

Это канонерка пристала к люку угольному.
 Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
 Клетку ослепило. Отпрянули испуганно.
 Путаясь костями в цепях, забились вглубь.

Но затем, не в силах более крепиться,
 Бросились к решётке, коясь о сноп лучей,
 И крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» —
 Потянулись с дрожью в руки палачей.

Счёт пошёл на миги. Крик: «Прощай, товарищи!»—
Породил содом. Прожектор побежал,
Окунаясь в вопли, по люкам, лбам и наручням,
И пропал, потушенный рыданьем каторжан.

О Г Л А В Л Е Н И Е

П О В Е Р Х Б А Р Ь Е Р О В

I

Февраль. Достать чернил...	5
Ледоход	6
Счастье	7
Ландыши	8
Сирень	9
После дождя	10
В лесу	11
Петухи	12
Рослый стрелок	13

II

Сон	14
Вокзал	15
Зима	16
Зимняя ночь	17
Метель	18
Венеция	20
Петербург	21
Стихи о Пушкине	23
Урал впервые	26
Импровизация	27
Мельницы	28
На пароходе	31
Марбург	33
Болезнь	36
Воспоминание	37
Город	38

С Е С Т Р А М О Я — Ж И З Н Ь

До всего этого была зима	43
Памяти демона	45
Про эти стихи	46

Светает	47
Звёзды летом	48
Наша гроза	49
Воробьёвы горы	51
Размолвка	52
Душная ночь	54
Ещё более душный рассвет	55
Попытка душу разлучить	57
Как у них	58
Лето	59
Давай ронять слова	60
Здесь прошёлся...	62

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

I

Любить иных...	65
Всё снег да снег...	66
Мертвецкая мгла...	67
Платки, подборы...	68
Любимая, молвы слащавой...	69
Красавица моя...	70
Никого не будет...	71
О, знал бы я...	72
Стихи мои, бегом, бегом...	73
Упрёк не успел потускнеть...	75
Весеннею порою льда...	78

II

Баллада	81
Лето	83
Смерть поэта	85
Вечере рело...	87

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ

I

Летний день	91
Сосны	93
Иней	95
Город	97
Вальс со слезой	99
На ранних поездах	101
Опять весна	103
Дрозды	104

II

Страшная сказка	106
Бобыль	107
Застава	108
Смелость	109
Старый парк	111
Зима приближается	113
Зарево	114
Смерть сапёра	116
Преследование	119
Разведчики	121
Неоглядность	124
Весна	126

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД

В нашу прозу...	129
Отцы	131
Детство	136
Мужики и фабричные	141
Морской мятеж	145
Студенты	151

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

Часть первая	157
Часть вторая	170
Часть третья	178

Редактор П. Чагин

*

Художник Н. Ильин

Подписано к печати 29/XI 1944 г. А—13012.
Тираж 25000 экз. 6 печ. л. 6,47 уч.-авт. л.
Зак. № 505. 3-я типография «Красный
пролетарий» треста «Полиграфкнига»
ОГИЗа при СНК РСФСР. Москва,
Краснопролетарская, 16.